

Пасмурным ноябрьским днём 1930 года около двух часов пополудни в помещении Seminarium Kondakovianum, тесном от книг и рукописей, для которых уже не хватало места на полках и они пыльными горами лежали на полу, раздалось требовательное дребезжание телефона. Рука Николая Беляева, сидевшего за печатной машинкой «Senta», на миг замерла в воздухе и, не коснувшись круглых помеченных латинскими литерами клавиш, опустилась на чёрную цилиндрическую рукоять телефонной трубки.

— Семинарий имени академика Кондакова, — неистребимым военным металлом отчеканил Беляев.

— Мне необходимо поговорить с господином Беляевым, — не здороваясь и не представляясь, заявила трубка. — По очень важному и срочному вопросу.

Голос у трубки был мужской, но нервный.

— Секретарь семинария Беляев у аппарата. С кем имею честь?

— Николай Беляев? — недоверчиво уточнила трубка.

Он поморщился. На родине, в России, такое обращение — без отчества звучало бы непростительной фамильярностью, но здесь, в Праге, в Чехии, хоть и славянская, а всё-таки Европа. Так что смирился, Николай Беляев.

— Так точно. С кем говорю?

— Год назад я обещал добыть тетради инок Вениамина, в реальность которых вы тогда не верили, — зачастила трубка, упорно не открывая своего имени. — Так вот, эти бумаги у меня. Но достались они мне чертовски дорого! Потому и для вас, милостивый государь, цена будет, конечно, другой. Не той, о которой...

— Послушайте! — перебил Беляев, раздражаясь. — Не знаю я никакого Вениамина и не пойму, о каких бумагах речь. Очевидно, тут какая-то ошибка.

— Ошибка? — то ли хохотнула, то ли всхлинула трубка. — Вы ведь Николай Беляев, историк? Ну так не юлите! Не поверю, что вы могли забыть наш спор о Гостомысле.

Николай мог поклясться, что такого спора ни с кем никогда не вёл. Но редкое имя Гостомысла зацепило. Собственно, он только

Владимир ШКЕРИН

г. Екатеринбург



повесть



Тетради инок ВЕНИАМИНА



одного обладателя этого имени в русской истории и помнил — первого старейшину Великого Новгорода, персонажа из такой туманной древности, что упоминаний о нём в летописях почти не осталось, да и те, что остались, сомнительны.

— Чего вы от меня хотите? — всё же поинтересовался Беляев.

— Чего хочу? Денег, разумеется!

Николай горько усмехнулся. Денег! Из-за этих проклятых денег, вернее, из-за их ненадёжного отсутствия они с Любой не могут позволить себе завести ребёнка... Если же имеется в виду не его личный кошелёк, а средства семинария, то и тут дела обстоят неблестяще. Вероятно, какой-то мошенник прослышал о том, что семинарий пользуется поддержкой самого Томаша Масарика. Это верно. В 1922 году русский академик Никодим Павлович Кондаков по приглашению президента Чехословацкой республики переехал в Прагу, где его ждали место профессора Карлова университета и персональная пенсия. Академик был вхож и в дом президента Масарика, дочери которого Алисе давал частные уроки по истории искусства. Спустя три года Никодим Павлович скончался. Тогда же группа его учеников создала семинарий, дабы продолжить исследования учителя. Спустя некоторое время чехословацкое правительство выделило семинарию пару стипендий и, главное, предоставило вот это помещение на Лоретанской площади, неподалёку от цитадели чешской государственности — Пражского Града. Но сравнить эту помощь с золотым дождём было бы большим преувеличением. На издание первого сборника статей, посвященного памяти Н.П.Кондакова, денег в чешском бюджете не нашлось. Масарик решил проблему, обратившись к знакомому американскому финансисту. Стало понятно, что возможности руководителя молодой европейской республики не безграничны, эксплуатировать же и дальше его личные связи члены семинария сочли не вполне удобным.

— Алё! Где вы там, господин Беляев? — напомнила о себе трубка, обеспокоенная затянувшейся паузой.

— Давайте уточним, — Николай подумал, что прервать разговор он всегда успеет. — Мы с вами якобы спорили о Гостомысле Новгородском? О том самом?

— Да, да, разумеется, о нём!

— Тогда не о тех ли тетрадах речь, в которых историограф Василий Никитич Татищев якобы обнаружил Иоакимовскую летопись?

— О них самых! Три тетради смоленского инок Вениамина. И давайте без этих ваших «якобы»!

— Без «якобы» не получится, поскольку сам исторический источник считается весьма сомнительным, — огрызнулся Беляев. — К тому же после Татищева, то есть с первой половины восемнадцатого столетия, его никто не видел. До Василия Никитича, кстати, тоже. Впрочем, — бывший фронтовик Беляев ослабил натиск, — вы меня заинтриговали. Я готов встретиться, посмотреть, что у вас за тетради. Хотя, повторяю, ни о какой прошлой договорённости не помню.

— Вижу, вы не промах, поторговаться придётся, — опять хохотнула трубка, на сей раз скорее заискивающе. — Но не думайте, я не такой простака, чтобы принести все тетради сразу. Несколько выпавших листов для экспертизы. Где встретимся?

Беляев решил, что место должно быть людным и одновременно таким, чтобы никто не стоял, не сидел рядом, не заглядывал через плечо.

— Знаете старый фонтан на площади между собором святого Вита и костёлом святого Иржи? Конечно, знаете. Сколько вам нужно времени, чтобы добраться туда?

— Двух часов достаточно.

— Хорошо. Жду вас там в четыре пятнадцать. Как вас звать и как я вас узнаю?

— Не надо меня ни звать, ни узнавать. Я-то вас хорошо помню. Увижу и подойду. До скорого свидания!

В трубке раздались гудки.

Ну и ладно. Беспokoился Николай не сильно. В случае какого-либо эксцесса из западни третьего двора Пражского Града не так-то легко выбраться: хоть в одну сторону беги, хоть в другую, а игольного ушка замковых ворот не миновать.

* * *

Но напрасно Беляев битых полчаса кружил у тёмной чаши фонтана, напрасно мерил шагами площадь от портала святого Иржи до абсиды святого Вита: никто к нему так и не подошёл.

Зато на обратном пути его окликнули с галереи соседней с семинарием пивницы:

— Николай, стой!

Это был Александр Горский, коллега из Русского заграничного исторического архива, в прошлой жизни — поручик Сибирской армии адмирала Колчака.

— Ох, и видок у тебя! Яко лев рыская, иский, кого проглотити... Чего так?

— Да поддался на какой-то глупый розыгрыш, — махнул рукой Николай. — Зря только время потерял. Ты ко мне? Зачем?

— Тише, тише. Охолони! Книжки я принёс. Почитать брал, теперь возвращаю.

— А-а... Ну, пойдём. У меня в столе припасена бутылка шнапсу, примем по рюмочке для успокоения нервов.

Однако едва приятели отворили двери семинария, как их встретило нетерпеливое дребезжание телефона.

— Что за шутки, господин Беляев? Какого чёрта я тащился через весь город?

— Позвольте! — Николай даже задохнулся от такой наглости. — Это вы не соизволили явиться. Или, может, в Праге два собора святого Вита?

Диалогом это назвать было сложно, так как оба супротивника рычали друг на друга одновременно. Горский, знавший товарища как спокойного, уравновешенного человека, опустил на стул и с любопытством наблюдал за разыгрывавшейся перед его глазами сценой.

Впрочем, внезапно вспыхнувшая перепалка так же внезапно и оборвалась. Обоим спорщикам стало ясно, что тут действительно произошла какая-то ошибка.

— Где, как вы утверждаете, состоялся наш спор о Гостомысле? — несколько успокаиваясь, спросил Беляев. — Иными словами: где мы с вами познакомились?

— На вашей парижской лекции, год назад.

— Но я никогда не был в Париже!

— Вы точно ли Николай Беляев? Тогда не морочьте мне голову! Вообще-то лекция была не о Гостомысле. Вы доказывали, что первый русский князь Рюрик и Рорик Ютландский — одно и то же историческое лицо. После лекции я подошёл с вопросом о жене Рюрика — Ефанде, дочери Гостомысла. Вы в точности, как сегодня, с небрежением отозвались об Иоакимовской летописи, в которой одной Ефанда только и упомянута. Мол, были какие-то тетрадки, которых никто кроме Татищева не видел. И добавили, что дорого бы дали, чтобы на них взглянуть. Сколько, спросил я. А когда вы назвали цену, сообщил, что до революции эти тетради хранились в моей семье. Вспомнили? И вот недавно в третьем выпуске кондаковского сборника я прочёл вашу, Николай Беляев, статью о Рюрике и Рорике. Идеи всё те же...

Внезапно Николай расхохотался.

— Понял! Господи, как всё просто... Не знаю, как вас звать-величать, но если вы ещё на Градчанах, приходите сейчас же в семинарий. Лоретанская площадь, дом сто девять. Встречу внизу, у входа. И я действительно другой Николай Беляев, ибо вы говорите о моём дяде. Я — Николай Михайлович, он — Николай Тимофеевич. Но я могу посмотреть ваши листы и, если сочту интересными, сообщу об этом дяде. Тут со мной, кстати, опытный архивный работник. Приходите! Заодно и шнапсу выпьем.

Спустя ещё десять минут знакомство состоялось. Вслед за Беляевым в комнату вошёл худой нервный человек в поношенном пальто с поднятым воротником и в надвинутой на глаза шляпе, скользнул взглядом по Александру и книжным полкам, метнулся к окну и принялся внимательно осматривать площадь и находившихся на ней людей. За его спиной Горский и Беляев переглянулись, при этом первый вопросительно поднял брови, а второй неопределённо развёл руками. Из окна по диагонали через площадь были видны красные черепичные крыши и фигуристая часовая башня Лоретанского монастыря, слева от него за жёлтой стеной скромно ютилась обитель капуцинов. На противоположной стороне улицы темнела неу-

хоженная громада Чернинского дворца, в котором теперь шёл ремонт. После его завершения во дворце должно было разместиться министерство иностранных дел.

Незнакомец несколько успокоился, снял шляпу и сел. Ему налили шнапса, и он по русскому обычаю тотчас опрокинул в горло первый стаканчик. Налили второй.

— Ну-с? — пригласил к разговору Беляев.

— Не похож я на героя? — ухмыльнулся незнакомец. — Что ж, когда за тобой через пол-Европы... Впрочем, не об этом! Кто я? Да-да. Пётр Афанасьевич Овинов, собственной, так сказать, персоной. Род наш дворян Овиновых издревле владел землями в Дорогобужском уезде на Смоленщине. Вероятно, с тех времён, когда Русь Московская боролась за эти территории с Русью Литовской и щедро дарили здесь своих сторонников поместьями. Вы, верно, уже поняли, куда я клоню?

— Нет, — честно признался Беляев, и Горский отрицательно помотал головой.

— Ну как же! В Дорогобужском уезде находился Бизюков монастырь, в котором архимандритом служил свойственник Василия Татищева Мелхиседек Борщов. Весной 1748 года он-то и прислал историографу три тетради с выписками из неизвестной древней летописи.

— Которые Василий Никитич назвал Иоакимовской летописью, сочтя их автором первого новгородского епископа Иоакима Корсунянина, — подхватил Беляев. — Того самого Иоакима, который «требища разори и Перуна посече».

— И Новгород крестил, и первую новгородскую Софию возвёл, деревянную ещё, — добавил Александр.

— Об этом вы, господа, больше моего знаете, — кивнул Овинов. — Но известно ли вам, куда потом делись эти тетради? Нет? А тетрадки-то вернулись в Бизюково. Архимандрит заранее предупредил историографа, что принадлежат они иноку его обители Вениамину и что тот их даёт лишь для прочтения. Неведомо когда, но в свой час инок отошёл в мир иной, его же личное имущество, полагаю небогатое, осталось в обители. Обитель же при Мелхиседеке, напротив, пребывала на пике богатства, имея земель

более чем кто-либо ещё на Смоленщине. Затем оказалось, что власть Москвы не ласковой литовской. Сперва матушка-самодержица Екатерина Великая отобрала у монастыря все земли, а после внук её государь Александр I, обещавший править по бабушкиным заветам, вовсе упразднил Бизюкову обитель.

— И тут на сцену выходят ваши предки, — предположил Горский.

— Угадали. Когда иноки перебирались в назначенную им новую пустынь, прадед мой, может, и не вполне законно, зато полюбовно купил часть монастырской библиотеки. Попали в эту часть и Вениаминовы тетради. Образованием прадед не блистал, но разные старинки любил. Дед мой дожил до реформы, до крестьянского освобождения, после которого многие помещичьи усадьбы прахом пошли. Наше дворянское гнездо не стало счастливым исключением. Купил его купец, сын нашего крепостного, мы же на вырученные деньги перебрались в Петербург. Квартира в столице — тоже весьма неплохо! И батюшке было где служить, и нам, детям, где учиться. Так вот и усадебная наша библиотека оказалась на берегах Невы. Вся или не вся, не знаю, но старинки — точно. Тетради эти я с детства помню. Любил их толстую, шершавую на ощупь бумагу, когда ещё и читать не умел. Запах их любил...

Овинов отхлебнул из стаканчика и теперь уже рассеянно поглядел в окно.

— Потом война, революция, добровольчество, Дон... Что об этом толковать? Как у всех. Отца расстреляли в группе заложников. Мать померла от голода и горя. Сестры теперь в Европах: старшая в Берлине, младшая в Белграде. Я же после Константинополя и Галлиполи обосновался в Париже, водил таксомотор. Конечно, состоял в Русском общевойсковом союзе и иных эмигрантских организациях. Через одну из них, какую, по понятным причинам не назову, я и вызвался на вылазку в Петроград. Думал, большевикам нагажу, заодно по улицам родным пройду, влажным невским воздухом впрок надышусь. Задание было несложное, на фронте не такое вытворяли. А подготовка была солидная: наскаучались наши военспецы. Накануне отправ-

ки одна знакомая затащила меня на лекцию вашего дяди. Я-то от мадемуазель совсем иного ждал... Что случилось на лекции, я уже докладывал.

— Ну, а в Петрограде? — Беляев закурил и протянул открытую пачку гостю.

Не любивший табачного дыма Горский молча встал и открыл форточку.

— Благодарю! — кивнул Овинов, двумя пальцами вытягивая папироску. — О цели вылазки говорить не буду. Шли втроём через окно на финской границе. Что было приказано, выполнили. Точка. После я предложил товарищам задержаться на день, чтобы мне навесить отеческую квартиру. Долго уговаривать не пришлось: лишний день в Питере, знаете ли... В свои дела их не втягивал. Заранее выяснил, что квартиру занял крупный советский функционер. Знакомые с детства двор и дом, знакомый подъезд, наши двери. Позвонил. Открыл мордатый дядька в отцовом халате. Наверное, с этого момента, из-за халата этого, он был обречён. Лучше б ему было в тот вечер задержаться на каком-нибудь своём совещании. Угрызения совести? Нет, не испытываю. На войне как на войне. Но эпизод, что и говорить, малопочтенный.

Овинов прикончил второй стаканчик и глупо затыкнулся папиросой.

— Волновался за библиотеку, но оказалось, что книги наши пылятся на своих местах. Будто он и не трогал их никогда. На одну из полок сбоку напихал какой-то коммунистической брошюратины — вот и все перемены. Потом слышу: скрип двери, шаги, крики. Сначала женский, потом низкий, мужской. Схватил с полки тетради, метнулся к выходу, поскользнулся, упал, — это было особенно противно. Какой-то военный кинулся, но я выхватил из кармана револьвер, направил на него. Стрелять не стал, может, зря... В общем, из дома ретировался благополучно. Зато на границе нас приняли. Видимо, сильно я разозлил их с этим функционером.

— Речь идёт не об... — заговорил Горский, но гость его бесцеремонно оборвал:

— Не надо догадок, имён всё равно не назыву! Одного товарища мы потеряли, другого, раненого, перетащил на себе на финскую сто-

рону. Этим несчастья не кончились. Окно на границе, которым мы пользовались, закрылось. Это понятно. Но спустя пару дней исчез наш финский проводник. Пропал со всей семьёй. Затем в дом, где отлеживался раненый, ночью пришли какие-то люди. Перед смертью его пытали. Я к тому времени уже перебрался в одну из прибалтийских стран, где со мной встретился руководитель отделения организации или братства, как они себя называли, — Овинов горько усмехнулся. — Он сказал, что из-за моего мальчишества, самодетельности и нарушения дисциплины погибли товарищи, провалены явки. Что я стал опасен для общего дела и потому они разрывают со мной все отношения. А потом я обнаружил за собой слежку... Да ведь вам, господа, не это интересно?

— Простите, но мы — общество сугубо научное и сторонимся политического активизма, — строго заметил Беляев. — Вы принесли с собой обещанные листы?

— Разумеется! У вас научный интерес, а у меня нужда в деньгах, чтобы шкуру свою спасти. Вот вам эти листки. Можете в лупу рассмотреть. Или обнюхать.

Овинов с видимым раздражением извлёк из-за пазухи папку небольшого формата и кинул её на стол. Вероятно, он впервые решился поведать кому-то о своих злоключениях, слушатели же оказались столь бесчувственны и меркантильны.

Беляев развязал тесёмки, открыл папку и разложил в ряд три отдельных листа. Не пожелтевших, нет, скорее, мертвенно-мраморных, плотно заполненных строками с обеих сторон. От времени чернила просочились насквозь, строки наслоились друг на друга и читались теперь с трудом. Сдвинув головы и действительно вооружившись лупой, Беляев и Горский разглядывали листы так и этак — на просвет, на качество чернил, на обтрёпанность краёв.

Наконец Николай вынес резолюцию:

— «Письмо новое, но худое, склад старый, смешанный с новым», — как и писал Татищев. Что ж, интересно. Образцы вы нам на честное слово, конечно, не доверите. Понимаю. Сегодня же я дам телеграмму дяде. Свой пражс-

кий адрес или какой-то телефон тоже не укажете? Хорошо. Тогда сами звоните. Да, сюда. Думаю, что через пару дней уже смогу передать вам дядин ответ.

— Только не вздумайте за мной следить! — поспешно предупредил гость, к которому вернулась начальная подозрительность.

— О, мы этим не занимаемся, — рассмеялся Горский. — Мы люди кабинетные.

Овинов сунул папку обратно за пазуху, надвинул шляпу на брови и, коротко кивнув, исчез за дверью.

— Ну, что скажешь? — спросил Николай, когда растаял звук его шагов.

— Чёрт его знает! Мутный тип. Но бумаги у него восемнадцатого века или даже конца семнадцатого. За это ручаюсь. Бумага иностранная, штемпеля и синения нет. Нет и букв «й» и «э», зато греческие «кси», «пси» и «омега» встречаются.

— Ладно. Без денег Николая Тимофеевича это дело с мёртвой точки всё равно не сдвинуть. Подождём его ответа.

— А у него есть деньги?

— У него — есть. Поздно уже, пойдём. Только форточку закрой.

Горский потянулся к форточке и вдруг замер. В высоком окне на третьем этаже Чернинского дворца, где прежде лишь изредка мелькали кепки и фуфайки рабочих, теперь стоял элегантный господин в чёрном котелке. Ещё более удивил бывшего поручика мгновенный отблеск, похожий на те, что отбрасывали на фронте окуляры цейсовских биноклей, когда на них падали лучи закатного солнца.

«А ведь параноик, похоже, прав: за ним — или теперь уже за нами? — кто-то следит», — подумал Александр. Но товарища своей догадкой решил не тревожить.

* * *

Николай Тимофеевич Беляев был прелюбопытный тип. И первое, что следует о нём сообщить — он был не профессиональным историком, но учёным-металлургом, и к тому же весьма успешным.

— А что, так можно? — полушутя удивился Горский. — Вот батюшка-то мой, уральский горный инженер, расстроился бы. Он всё меня убеждал приобрести для жизни настоящую профессию, историей же заниматься для личного удовольствия.

— Как видишь, дяде удалось, — не без фамильной гордости ответил Беляев-племянник. — Ещё до Великой войны он служил профессором Михайловской артиллерийской академии, посещал лаборатории Германии, Англии и Франции. Когда же война началась, правительство направило его в Лондон для работы в Русском заготовительном комитете по снабжению армии. Узнав о большевистском перевороте, на родину не вернулся. Теперь консультирует британские и французские металлургические компании, часто пересекает Ла-Манш в обоих направлениях. И при этом успевает весьма убедительно заниматься древнерусской историей.

— Что же он такое опубликовал в третьем выпуске вашего сборника о Рюрике-Рорике, Ефанде и Гостомысле?

— Во-первых, можешь взять и почитать. Могу и продать экземпляры, семинарий этими продажами главным образом и существует. Во-вторых, дядя телеграфировал, что новостью заинтригован и через неделю намерен лично приехать в Прагу. И я уверен, что первым делом он посвятит нас во все тонкости этой проблематики.

Через неделю так всё и произошло. Весь семинарий решили не созывать, собрались почти исключительно семейным беляевским кругом: Николай Тимофеевич, Николай Михайлович с женой Любовью Кондрацкой (также ученицей профессора Кондакова) да случайно угодивший в эту историю архивист Горский. Последний с неожиданным жаром отверг вариант просто посидеть-перетолковать в помещении на Лоретанской площади и увёл компанию вниз по Нерудовой улице в полюбившийся ему пивной подвальчик «У семи швабов». Когда все расселись за дощатым столом, на котором пугливо трепетали огоньки пары пузатых глиняных светильников (подвальчик освещался лишь свечами, потому в нём всегда царил полумрак), и дож-

дались своих первых кружек пива, лондонский гость как истый профессор поднялся на ноги и открыл лекцию:

— Сразу признаюсь, что никогда не верил в подлинность так называемой Иоакимовской летописи. И теперь не верю. Почтенный историограф девятнадцатого века Николай Михайлович Карамзин считал всю историю с тетрадами из Бизюковой обители всего лишь шуткой старика Татищева. Но вера — слишком зыбкая почва для научных построений, при первой возможности её необходимо укреплять кирпичами документальных доказательств. И коль скоро тетради инока Вениамина вроде бы нашлись, непостижительно было бы вновь упустить их без тщательного исследования. Да, понятно, что это не подлинные летописные раритеты, — а много ли мы знаем таковых в отечественной истории? — понятно, что их мог написать сам Татищев, или кто-то из его знакомых или незнакомых современников, или кто-нибудь незадолго до них, но, но, но... Поэтому я выкуплю эти тетради. Вероятно, поторговаться придётся, но если господину Овинову нужен, например, билет до Латинской Америки, то охотно оплачу. Могу даже снабдить рекомендательным письмом к единокровному братцу Ивану Тимофеевичу Беляеву, который теперь изучает индейцев-чако в джунглях Парагвая. Там-то уж беглеца точно никто не достанет.

Николай Тимофеевич широко улыбнулся, и стало ясно, что он и правда легко может отправить человека на другой конец света. Ибо деньги — это свобода.

— Дальше обсуждать судьбу бедолаги я здесь и сейчас не вижу смысла. Уверен, что он объявится, ибо в этом кровно заинтересован, и мы всё решим. Если, конечно, у него на руках действительно имеются бизюковские тетради. К ним или, иначе, к Иоакимовской летописи я вернусь чуть позже. Теперь же коснусь любимой темы — о князе Рюрике и конунге Рорике. Наш заглавный письменный источник о призвании варягов — «Повесть временных лет» киевского монаха Нестора повествует о Рюрике и братьях его Синеусе и Труворе весьма скупое. Вы все прекрасно помните, но дабы

не прерывать линии рассказа... В 862 году от рождения Христова послали финно-угры и славяне гонцов за море к варягам, называвшимся русью. «Сказали руси чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша велика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите княжить и владеть нами». И избрались трое братьев со своими родами, и взяли с собой всю русь, и пришли прежде всего к славянам. И поставили город Ладогу. И сел старший, Рюрик, в Ладоге, а другой — Синеус, — на Белом озере, а третий, Трувор, — в Изборске. И от тех варягов прозвалась Русская земля».

Воспроизведя на память эту знаменитую цитату, Николай Тимофеевич смочил горло глотком тёмного пива и с наслаждением закурил. Стоял он как раз напротив Николая Михайловича, и Александр Горский невольно отметил, сколь несхожи между собой эти родственники. У племянника было узкое и длинное лицо, высокий и сдавленный с боков лоб, выдающийся мыс костистого носа, и вообще вид он имел напряжённый и нездоровый. Дядя же, хоть и был двадцатью годами старше, но выглядел куда бодрее и здоровее племянника. У него была прочно сидевшая на шее круглая голова, русский нос картошкой, наливные румяные щёки. И костюм его был пошит, может, по тому же фасону, что и у пражских слушателей, но видно было, что из дорогих тонких тканей и у хорошего портного на заказ.

— Так вот, — продолжил лектор, — поскольку мы не располагаем оригиналом «Повести», а знаем её содержание по различным спискам, имеются разночтения и в вопросе о том, где именно Рюрик изначально обосновался в Гардаре, то есть в тех краях, где при его участии возникнет Русское государство. Согласно одной версии, он объявился в Альдейгюборге, то есть в Ладоге, по другой, сразу направился в Хольмгард — Новгород. И это если ещё не рассматривать гипотезу академика Алексея Александровича Шахматова, увы, уже покойного, о том, что скандинавский Хольмгард — это наша Старая Русса. Он же, впрочем, считал сюжет о призвании варягов поздней сомнительной вставкой в начальный текст «Повести». Но не станем уг-

лубляться в вопрос для нас второстепенный... Добавлю только, что далее Нестор бестрепетной дланью сметал с летописных страниц Синеуса и Трувора, объявив, что они померли без причин и подробностей, вследствие чего все их владения достались Рюрику. И этим Несторовы сведения о братьях-варягах исчерпываются.

— А был ли Рюрик-то? — обронила Любовь Кондрацкая не столько вопросом, сколько шуткой. Впрочем, глаза её за круглыми линзами очков остались серьёзны.

— Тут-то на помощь нам и приходят латинские анналы, в которых изрядно наследил Рорик Ютландский, — с полупоклоном в сторону единственной в учёном собрании дамы отвечал Николай Тимофеевич. — Вообще говоря, Рюрик и Рорик — это всего лишь два написания одного имени, которое с прагерманского языка переводится как «славный правитель». Жизнь Рорика — это приключенческий роман. Происходил он из датской династии Скъльдунгов, правившей в Хедебю, приходясь племянником ютландскому конунгу Харальду Ворону. Когда Ворон ввязался в войну за датский престол, племянник, вестимо, его поддержал. Потерпев поражение от вторгшихся в страну шведских викингов, родственнички бежали из Ютландии и занялись грабежом фризских берегов. Это на запад от нынешней Дании. Тут как раз принц Лотарь из династии Каролингов в очередной раз восстал против своего отца, императора франков Людовика Благочестивого. Ютландские конунги-изгнанники со своими норманнами нанялись к Лотарю на службу. После же кончины Людовика от лихорадки на острове посреди Рейна Лотарь передал в управление Харальда и Рорика ту самую Фризию, которую они ещё недавно столь нещадно грабили. Теперь они защищали эти берега, прежде всего от набегов братьев Лотаря — Людовика Немецкого и Карла Лысого. Помирившись с братьями, Лотарь поспешил избавиться от беспокойных норманнских наёмников и вероломно обвинил их в измене. Ворон так и умер в темнице. Рорик же сумел бежать, набрал новое войско и опустошил с ним земли фризов.

Осознав, что с таким головорезом лучше дружить, чем враждовать, Лотарь вернул Рорику им же разорённую Фризию. Вот вам, друзья, портрет искателя приключений и богатств, разбойника и пирата, да ещё, наверное, и работорговца, которому по понятиям нашего времени самое место сидеть за решёткой. Но именно из такого металла и ковались строители древних государств.

На этих словах Горский вдруг вспомнил про затравленного беглеца Овинова, про незнакомца в высоком окне Чернинского дворца и окинул тревожным взглядом сторонних посетителей пивницы. Вроде бы ничего подозрительного. Но вольно гостю из чопорного Лондона судить об умягчении нравов нашего времени! В каменных лабиринтах старушки Европы, а тем паче в разворошённом муравейнике России разбойники-варяги либо уже у власти, либо рвутся к ней.

— И где же в этой бурной истории место для основания Новгорода и самого Русского государства? — скептицизм Кондрацкой проявлялся всё более явственно. — Для одной разбойничьей жизни и так предостаточно.

Действительно, было что-то неправильное и обидное в том, как этот металлург, пусть даже замечательный металлург, так самоуверенно поучал профессиональных историков их собственной науке. Когда-то профессор химии Михайло Ломоносов уже нагородил в истории неразберихи, произведя русов от кочевников-роксолан и отодвинув начало славянства к временам Троянской войны и переселения народов. Хотя Ломоносов тщился опровергнуть варяжскую теорию, а тут напротив...

— Вот-вот, — с изящной иронией, которой он, наверное, не позволил бы себе по отношению к оппонентам-мужчинам, парировал Николай Тимофеевич. — Историк-славянофил Михаил Погодин тоже веселился. Уж очень, мол, Рорик-Рюрик шустёр: полвека по северным морям пиратствовал, да ещё и сына Ингвара-Игоря исхитрился зачать лет эдак в восемьдесят. Но, во-первых, хронология «Повести временных лет» весьма условна. У Нестора не было или почти не было источников для сверки дат из русской истории.

Зато имелись византийские хронографы, на которые летописец и ориентировался. Кому из константинопольских базилиевсов Рюрик приходился современником? Михаилу Пьянице и Василию Македонянину. От них и пляшем... Весьма ненадёжный ориентир, не правда ли? Неизбежны большие погрешности. А во-вторых, в описаниях кипучей деятельности Рорика на фризских берегах как раз в 863-870 годах зияет непонятная лакуна. До тех пор он защищал эти берега рьяно и успешно — так же, как прежде грабил. Но уже в первый из названных годов датские драккары беспрепятственно поднялись по Рейну и разграбили города Нойс и Ксанте. За что реймский архиепископ и требовал наложить на Рорика епитимью. Кстати, порадуемся за Рорика: значит, к тому времени он уже принял веру Христову. Но вот вопрос: где он пропал во время набега своих бывших соплеменников?

Видимо, не желая допускать продолжения спора между женой и дядей, в разговор вступил Николай Михайлович:

— У каждого из нас имеется свой конёк — любимая тема. Вот и Николай Тимофеевич если уж взялся говорить о Рорике-Рюрике, так его не переслушать. Но не пора ли вернуться к злосчастной Иоакимовской летописи?

— Да-да, — мгновенно поддержала его послушная жена. — Действительно, пора.

— Воля семьи — для меня закон, — рассмеялся историк-металлург. — Что ж, значит, вернёмся. Помимо общеизвестных сведений Иоакимовская летопись изобилует и такими, которых нигде более не встретишь. Ключевой её фигурой мне представляется Гостомysl, которого Василий Татищев величал не старейшиной и не посадником, но «благоразумным князем».

— Странное имя — Гостомysl, — всё-таки ввернула Кондрацкая.

— Нормальное старославянское имя, — парировал Горский. — О чём-то человек мыслил, размышлял, за что и был поименован. И раз уж судьба забросила нас в Чехию, помянем родоначальника здешних королей Пржемысла Пахаря.

Александр поднял кружку. Научное сооб-

щество признало тост уместным и присоединилось.

— Самое замечательное, что вы оба правы, — улыбнулся Николай Тимофеевич, ставя свою кружку на стол и обращаясь одновременно к Кондрацкой и Горскому. — Это старославянское имя непривычно для русского уха, ибо окончание «мысл» было характерно для имён западных славян, но не восточных. Ещё в прошлом веке первый профессор славяно-русской филологии умница Измаил Срезневский писал о вероятном западнославянском происхождении Гостомысла. Был в девятом веке такой вождь у живших на Эльбе ободритов, да погиб в бою с Людовиком Немецким.

Кондрацкая и Горский переглянулись. Они остались довольны друг другом.

— Итак, Гостомysl, — продолжил докладчик. — Этот персонаж обростал плотью постепенно. Имя его не встречается ни в Лаврентьевской, ни в Ипатьевской, то есть в древнейших русских летописях рубежа четырнадцатого и пятнадцатого столетий, дошедших до нас физически, то есть в подлинниках. Появляется оно лишь в Новгородской первой летописи младшего извода, сиречь в поздней редакции памятника сороковых годов пятнадцатого века. В это время Господин Великий Новгород яростно и обречённо отстаивал приоритет посадничества перед княжеской властью. Но и в Новгородской летописи имя Гостомысла лишь открывало список посадников. Имя, одно имя, больше ничего. Вслед за Гостомыслом были поименованы Константин и Остромир — это реальные исторические деятели времён Ярослава Мудрого и сына его Изяслава. Таким образом, между первым и последующими номерами перечень перескочил из середины девятого века в первую половину одиннадцатого. Константин никак не мог быть преемником Гостомысла.

— Долгожитель наш Рюрик и тот столько бы не протянул, — весело ввернул Александр, в отличие от коллег осушивший кружку за Пржемысла до дна.

— Тем паче что Иоакимовская летопись весьма подробно повествует о кончине Гостомысла. Но прежде обращения к этому сомнительному источнику я ещё должен сказать про на-

растание Гостомысловой плоти в следующем, шестнадцатом, столетии. Тогда Воскресенская летопись сообщала о призвании им варягов из Прусской земли, а Никоновская вскользь упомянула о его участии в расселении славянских племён. Объявилась и могила Гостомысла на Волотовом поле близ Новгорода.

— То есть не Иоакимовская летопись и не Василий Татищев впервые назвали Гостомысла инициатором призвания варягов? — уточнил Николай Михайлович.

— Смотря как датировать эту летопись и верить ли Татищеву. И ещё нужно кое-что уточнить про шестнадцатый век. До него не было никаких Рюриковичей, а наши князья звались Игоревичами. Ибо у Рюрика не было никакой биографии, а у Рорика была такая репутация, что оторви да брось. Зато Игорь, хоть и наследственность у него подкачала, и поступки, а всё урождённый князь. В шестнадцатом же веке наши первые политические мыслители, инок Филофей и компания, сочинили доктрину «Москва — третий Рим», а с нею вместе состарили и облагородили генеалогию московских правителей. Октавиану Августу изобрели брата Пруса, которому сей римский император, правитель вселенной, якобы даровал земли от Вислы до Немана — Пруссию. Октавиан же для православного человека той поры был важнее Юлия Цезаря, потому что именно при нём родился Христос. Так Рюрик оказался потомком Пруса в четырнадцатом поколении. И оттого-то Иван Грозный кичился, мы-де из колена Октавианова, обзывая западных королей самозванцами.

— Ловко! — восхитился Горский. — Я бы с этими ребятами в карты играть не сел.

— Зато по части подробностей Иоакимовская летопись затмила всех. Согласно ей, правил Гостомысл Новгородом долго и мудро, однако «всему своё время и каждому свой час». Чувя приближение своего часа, задумался Гостомысл о том, кому оставить всё, и тяжки были думы те. Всех своих сыновей пережил Гостомысл, а три его дочери были выданы замуж за чужеземных правителей. И тут приснился ему сон про среднюю дочь Умилу, жену варяжского конунга. Якобы из чрева её поднялось дерево, покрывшее ветвями огромный

город. Волхвы растолковали, что один из сыновей Умилы станет наследником Гостомысла. Тогда-то славяне и чудь и послали гонцов за море и привели с собой детей Умилы — Рюрика, Синеуса и Трувора.

— Что-то мне эта история напоминает, — заметила Кондрацкая.

— Ну, конечно! — с какой даже радостью воскликнул рассказчик. — Историю рождения персидского царя Кира Великого в изложении Геродота. Царю Мидии Астиагу приснился вещий сон о том, что из тела его дочери Манданы выросла виноградная лоза и тенью своей покрыла всю Азию. И так далее... А уж Геродота-то Василий Никитич читал и знал хорошо. Гостомысл прибытия заморских внуков не дождался, помер. Зато у него чудесным образом нашлась ещё одна дочь, Ефанда, на которой Рюрик и женился, ещё более закрепив свои родовые права на Новгород.

— Женился на родной тётке! — воскликнул Горский. — И в каком же возрасте она родила сына Игоря от своего восьмидесятилетнего племянника?

Александра всё более забавляла эта история. Кондрацкая же на сей раз взглянула на него без одобрения.

— Не станем придирается к подробностям, — отмахнулся Николай Тимофеевич. — Вероятно, изначально имелись две версии о том, через какую из дочерей и в каком качестве — матери или жены — породнился новгородский посадник с варяжским бродягой. Потом летописец решил не выбирать и объединил обе.

— И что теперь? — осведомился серьёзный Николай Михайлович.

— Что теперь? — эхом повторил Николай Тимофеевич. — Сегодня будем пить пиво, петь «Гаудеамус» и веселиться. А с завтрашнего дня — ожидать звонка господина Овинова. Что нам ещё остаётся?

* * *

Однако минул день, а за ним — другой и третий, а Овинов всё не звонил.

Лондонский гость занервничал.

— Я научился легко расставаться с деньга-

ми, — сказал он. — Для чего они и нужны, если их не тратить? Это всего лишь средство обмена. Но одно дело тратить деньги и совсем другое — их терять. Меня в Англии ждёт работа. Потом планируется поездка во Францию. Я готов задержаться в Праге ещё на пару дней, не более.

А потом случилось неожиданное.

На следующий день, около половины шестого вечера в комнаты кондаковского семинария не вошёл, а буквально ворвался Овинов. Он опять был в пальто, старом, но другом и к тому же нелепого зелёного цвета, опять в низко надвинутой шляпе и, кажется, в ещё более взвинченном состоянии, чем во время своего первого визита.

Секретарь Беляев разбирал каталожные ящики и только глаза успел поднять над оправой сдвинутых на нос очков.

— Что с вами, Пётр Афанасьевич? И где вы пропадали? Отчего не звонили? Николай Тимофеевич...

— К чёрту Николая Тимофеевича! К чёрту вашего дядю! Кружу по городу... У вас есть деньги? Наличные? Сейчас, здесь, с собой?

Видимо, на лице Беляева слишком явно обозначились разочарование и сарказм. Опустившихся типов среди эмигрантов было довольно.

— Вы меня неправильно поняли! — крутанув шеей, крикнул Овинов.

Он распахнул пальто, достал какой-то свёрток, развернул кусок французского целлофана и вывалил на стол три старинные тетради.

— Вот! Забирайте! Под честное дворянское. Окончательный расчёт потом. Если получится... Но сейчас, сколько у вас есть сейчас?

Николай Михайлович растерялся:

— Да, собственно... Об этом и говорить смешно!

Он почти машинально сунул руку в брючный карман и вытащил несколько смятых асигнаций небольшого достоинства.

— Это всё? Всё?! — Овинова трясло как в лихорадке. — Ладно! Нет времени. Давайте! Тут есть чёрный ход? Тут непременно должен быть чёрный ход!

Беляев вывел визитёра за дверь и указал рукой в конец коридора:

— Лестница выведет во внутренний двор. Оттуда — выход на соседнюю улицу.

Не сказав более ни слова, Овинов убежал. Беляев вернулся в комнату, почти не сомневаясь, что у него только что самым глупейшим образом обчистили карманы. Но тетради лежали на столе. И листы в них были один в один похожи на образцы, которые они с Горским рассматривали полторы недели назад.

Николай Михайлович снял телефонную трубку, позвонил в отель, назвал добавочный номер и, услышав знакомый голос, сказал:

— Дядя, тетради у меня. Я сам ничего не понимаю. Овинов вбежал, кинул их на стол. Да, фактически без денег. Сказал, что после. Может быть. Откуда я знаю, подлинники ли это? Не было времени. Вроде похожи на те, прежние листы. Не надо сюда приезжать. Я через полчаса заканчиваю и сам подъеду... Подойду.

Беляев вернул трубку на рычаг, и тут ему стало страшно. От кого бежал Овинов в таком первобытном ужасе? Кто его преследовал? А вдруг сейчас, сюда... Он резко встал, подошёл к окну, осторожно, совсем как тот в первый день, выглянул из-за занавески. Площадь как площадь, улица как улица, прохожие как прохожие. Страх — чувство заразительное, он знал об этом и прежде. Вспомнил гражданскую войну, дерзкие рейды с есаулом Чернецовым, плен, побег из плена, Ледяной поход, ранение и второй плен, Украину и Крым. Чего уж теперь бояться в мирной Праге?

И Николай Михайлович вернулся к разбору каталога.

В шесть часов он поднялся из-за стола, снял нарукавники, облачился в пиджак и светло-серое коверкотовое пальто с контрастирующим чёрным воротником (подарок Любы), надел фетровую шляпу и калоши, положил тетради в рыжий кожаный портфель с двумя пряжками (ещё один её подарок), запер двери семинария и, миновав коридор, лестницу и галерею, вышел на улицу. Оглянулся. Ничего. Пошёл по улице, прижимая портфель к боку острым локтём.

Но уже через два шага его окликнули по-русски:

— Николай Михайлович!

Он стремительно обернулся. Возможно, слишком стремительно для человека, просто шедшего по вечерней улице.

— Николай Михайлович, простите великодушно, если напугал!

— Отнюдь! — холодно отрезал Беляев. — Что вам угодно?

Незнакомец был высок, статен, одет щеголем, но с неистребимой гвардейской выправкой. На голове — серый котелок, чуть сдвинут на макушку. Лоб чистый, высокий. Глаза чёрные, насмешливые. На верхней губе — маленькие усики с подкрученными краями, словно с рекламы бриллиантина.

— Позвольте представиться: Алексей Павлович Бежин. Изгнанник, как и вы.

— Что вам угодно? — повторил вопрос Беляев. — Я несколько тороплюсь.

— О! Я понимаю: после службы домой, к жене, детям. У вас есть дети?

Беляеву подумалось, что Бежин зачем-то тянет время. Чего-то ждёт.

— Станный вопрос для улицы. Нет. Детей нет.

— Да, неловко получилось... — Бежин оглянулся, но ничего необычного за его спиной опять же не происходило: шли по тротуару прохожие, смеялись женщины, ехал по проезжей части грузовик. — Я недавно из Франции. У меня к вам письмо от Сергея Эфрона. Он теперь лечит свой застарелый туберкулёз в русской санатории в Верхней Савойе.

Студент-филолог Эфрон был ещё одним членом кондаковского кружка, но научной карьеры не сделал, уехал. У Беляева отлегло от сердца. Да что он, в самом деле! Было бы немного времени и денег, следовало бы пригласить гвардейца посидеть, хотя бы кофе выпить, расспросить о том о сём, об Эфроне. Однако ни времени, ни денег не было. Николай Михайлович перехватил портфель левой рукой, освободил и протянул вперёд правую:

— Давайте. И прошу меня извинить за спешку и невежливость.

— Ну что вы! — улыбнулся Бежин, обнажая ряд безупречно белых зубов с парой острых клычков по краям, и поднял руку к груди, где, вероятно, пряталось письмо.

Грузовик тарахтел уже у самого беляевского

плеча. И тут Бежин одной рукой, левой, вцепился в портфель, а другой, правой, коротко и сильно ударил Николая Михайловича — от своей груди в его грудь.

Всё произошло мгновенно. Грузовик смял человека и дважды проехал колёсами по ещё живому телу, плюща его и коверкая, а затем, не останавливаясь, наоборот, газуя, набирая скорость, помчался прочь по улице. Пронзительно завизжала какая-то женщина, наверное, из тех, что только что смеялись. У края тротуара начала собираться толпа. Беляев лежал, нелепо подогнув под себя ногу, беспомощно откинув руку. На губах его вздувались розовые пузыри: он что-то ещё силился сказать. Стеклёнувший взгляд неотрывно следил за Бежиным. Через минуту из обоих углов беляевского рта обильно хлынула чёрная кровь.

Бежин снял котелок, по-русски перекрестился и, осторожно двигая плечами, выбрался из возбуждённо галдевшей толпы. В руках он уносил рыжий кожаный портфель.

* * *

Опершись на широкие каменные перила, на мосту Легии стояли двое. Один — высокий стройный красавец, с чёрными усиками на верхней губе, в модном котелке и элегантном приталенном пальто. Другой — коренастый, мощный, гладко выбритый от подбородка до макушки, в меховом картузе, одет недёшево, но без должного умения и лоска. Стояли, молчали, глядели на воды Влтавы, медленно катившиеся глубоко под ними. На каменных плитах у ног мужчин притутился рыжий портфель — так, что нельзя было и понять, кому из двоих он принадлежит.

— Скоро новый год, — заметно скучая, сказал красавец.

— Да, — согласился человек с невыразительным лицом. — Уже тридцать первый.

— Вернётесь в Москву?

— Надеюсь. Не от меня зависит.

Красавец скривил губы:

— Будто бы вам в Европах плохо!

— Завидуй молча. Тебя, беляка, родина ещё не скоро простит.

Красавец нервно дёрнул щекой и, меняя тему, поинтересовался:

— Смотрели содержимое портфеля?

— Ознакомился.

— Что скажете?

— Ничего по нашей части. Три старых тетради со сказками о Гостомысле и Рюрике да книжка по истории Византии. Плюс запасной воротничок и контейнер для бутербродов. Сам же видел.

— Видел. Каковы общие выводы?

— По кондаковскому семинарию? Книжные черви, не более того. Никакого второго дна. Совершенно неопасны. Вероятно, объект и правда хотел продать им эти тетради. Теперь один из причастных в Лондоне, другой на Ольшанском кладбище, вдова, как положено, в трауре, а четвёртый и вовсе непонятно при чём. Не люблю я этих дополнительных хлопот. Все участники той реальной боевой группы зачищены.

— Тетрадки-то, по-моему, любопытны. Если не для конторы, то...

— Даже не думай об этом! Так вот обычно и попадают. На мелочах.

— И что будем делать?

Человек с невыразительным лицом нагнул, поднял портфель, подождал, когда пройдёт мимо влюблённая парочка. Потом поставил на перила и легонько толкнул вперёд.

— Вот и всё, господин-товарищ Бежин. Немного поплавает, намокнет и потонет. Теперь расходимся. Ты в сторону театра, я к Стрелецкому острову.

— К Стрелецкому, — с плохо скрываемым раздражением поправил Бежин. — Мы всё-таки в Праге.

— Да, пока ещё оба в Праге, — осклабил коренастый. — А потом мне в Москву, а тебе обратно в Париж. Разные у нас дорожки, разные.

И они разошлись не прощаясь.

Иллюстрации автора



Владимир Анатольевич ШКЕРИН

родился в 1963 году в пригороде Ленинграда.

Жил на Западной Украине, в Одесской области,

на Дальнем Востоке и Северном Кавказе.

В настоящее время живет в Екатеринбурге.

Доктор исторических наук,

автор ряда монографий, научно-популярных книг,

учебников и многочисленных научных статей.

Проза публиковалась в журналах

«Веси» (Екатеринбург) и «Слово\Word» (Нью-Йорк).

В журнале «Север» публикуется впервые.

